«КРОМЕШНЫЙ МИР» В ИЗОБРАЖЕНИИ Н.А. НЕКРАСОВА И А.П. ПЛАТОНОВА (К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)

Н.З. Кольцова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Poccus: koltsovaru@rambler.ru

Аннотация: В статье предпринята попытка проследить типологические схождения между поэмой Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и романом А.П. Платонова «Чевенгур». Параллели между двумя текстами предопределяются прежде всего ориентацией обоих авторов на фольклорные и литературные традиции. Так, структура и поэмы, и романа предполагает рассмотрение в контексте кумулятивной сказки, основанной на повторении сюжетного звена — поиска счастливца, которому «живется весело, вольготно на Руси», или «тридевятого царства», места, где возник «коммунизм среди самодеятельности населения». Кроме того, типологическое сходство обоих текстов объясняется тем, что они создавались в похожих конкретно-исторических обстоятельствах (и являлись реакцией творцов на глубокие социальные потрясения в жизни России — на отмену крепостного права и, позже, революцию 1917 года).

В моменты подобных серьезнейших «тектонических сдвигов» в обществе особенно проявляется абсурд, бессмысленная «кромешность» жизни. В XIX в. абсурд самой истории художественно осмыслили Салтыков-Щедрин и Некрасов, в XX в. традицию подхватил и развил Платонов. Однако если у Некрасова абсурдное, аномальное, уродливое концентрируется в нескольких эпизодах поэмы (фрагменты «Крестьянка» и «Последыш»), то у Платонова абсурд растворен во всем тексте романа, как включен он и в само «вещество существования», то есть в саму жизнь. По мнению Платонова, абсурд является одной из констант, глубинных составляющих жизни и выходит на поверхность в кризисные моменты истории страны.

Параллели между образами разоренного дома и искаженного мира в произведениях Платонова и Некрасова помогают авторам показать, с одной стороны, противоречия русского национального характера, с другой стороны — подчеркнуть их надвременную, философскую сущность.

Ключевые слова: Некрасов; Платонов; «Кому на Руси жить хорошо»; «Чевенгур»; «Котлован»; абсурд; социальные сдвиги; русский национальный характер; отмена крепостного права; революция

doi: 10.55959/MSU0130-0075-9-2024-47-05-17



Для цитирования: Кольцова H.3. Кромешный мир в изображении Некрасова и Платонова (к постановке вопроса) // Вестн. Моск. ун-та. Серия 9. Филология. 2024. № 5. С. 214–225.

THE PITCH-BLACK WORLD AS DEPICTED BY NEKRASOV AND PLATONOV (TO THE QUESTION)

N.Z. Koltsova

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; koltsovaru@rambler.ru

Abstract: This article attempts to trace the typological connections between N. Nekrasov's poem Who Can Be Happy and Free in Russia and A. Platonov's novel Chevengur. The parallels between the two texts are determined primarily by the orientation of both authors towards folklore and literary traditions. Thus, the structure of both the poem and the novel is based on the repetition of a plot link as in a cumulative fairy tale — the search for a lucky man who "can be happy and free in Russia", or the "three-ninth kingdom", the place where "communism arose among the self-activity of the population". Besides, the typological similarity of both texts is explained by the fact that they were created in similar specific historical circumstances (and were the creators' reaction to the profound social upheavals in the life of Russia — the abolition of serfdom and, later, the revolution of 1917).

At moments of such serious "tectonic shifts" in society, the absurdity, the senseless "pitch darkness" of life is especially obvious. In the 19th century the absurd of history was artistically interpreted by Saltykov-Shchedrin and Nekrasov, and in the 20th century this theme was picked up and developed by Platonov. Whereas in Nekrasov the absurd, the abnormal, the ugly are concentrated in several episodes of the poem (the fragments "The Peasant Woman" and "The Last Pomeshchik"), in Platonov the absurd is dissolved in the entire text of the novel, since it is included in the very "substance of being", that is, in the very life of the Russian people. According to Platonov, the absurd is one of the constants, the deep components of life, and comes to the surface in critical moments of the country's history.

The parallels between the images of a ruined home and a distorted world in the works of Platonov and Nekrasov help the authors show, on the one hand, the contradictions of Russian national character, and on the other hand, to emphasize their timeless, philosophical essence.

Keywords: N. Nekrasov; A. Platonov; Who Can Be Happy and Free in Russia; Chevengur; The Foundation Pit; absurdity; social changes; Russian national character; abolition of serfdom; revolution

For citation: Koltsova N.Z. (2024) The Pitch-Black World as Depicted by N. Nekrasov and A. Platonov (To the Question). Lomonosov Philology Journal. Series 9. Philology, no. 5, pp. 214–225.

Тема «Платонов — Некрасов» подсказывается самой структурой главных произведений авторов — поэмы «Кому на Руси жить хоро-

шо» и романа «Чевенгур», предполагающих рассмотрение в контексте кумулятивной сказки, основанной на повторении сюжетного звена, будь то поиск счастливца, которому «живется весело, вольготно на Руси», или «тридевятого царства» (места, где возник «коммунизм среди самодеятельности населения»). Разумеется, параллели предопределены не только ориентацией на фольклорные и литературные традиции, но и сходством конкретно-исторических ситуаций — в том и в другом случае это реакция на тектонические сдвиги в жизни России. При этом и некрасовские правдоискатели, и платоновские «неистовые ревнители» сосредоточены на решении вопросов философского порядка.

Так, по мнению Т.С. Злотниковой, центральный конфликт некрасовской поэмы получает своеобразное продолжение в романе Платонова: «Рядом с "русскими вопросами", ставшими риторическими фигурами и заданными в экстраверсивном дискурсе А. Герценом и Н. Чернышевским ("кто виноват" и "что делать"), мы видим "русские вопросы", заданные в интроверсивном дискурсе: "Кому на Руси жить хорошо?" у Н. Некрасова и "Как жить?" у А. Платонова» [Злотникова 2019: 188].

Примечательно, что в стремлении понять, какой ответ на вопрос дает Платонов, Злотникова приходит к неутешительному выводу: «...в большинстве своих произведений Платонов не видит самой возможности жить, создавая ощущение сгустившегося воздуха как не пригодной для дыхания субстанции и деформированного пространства, где нет доступного пониманию и возможного для проживания/нахождения времени» [Злотникова 2019: 195]. Заметим, что так называемое «деформированное пространство», о котором пишет исследовательница, «освоено» как русской литературой, так и — прежде всего — русским фольклором, не раз обращавшимися к темной, или кромешной, стороне жизни.

Д.С. Лихачев и А.М. Панченко в «Смеховом мире Древней Руси» так характеризуют кромешный мир: «Перед нами изнанка мира. Мир перевернутый, реально невозможный, абсурдный, дурацкий» [Лихачев, Панченко 1976: 19]. Эпитет «дурацкий», казалось бы, обещает погружение в веселое скоморошество, но он же, как это происходит в анекдотах о пошехонцах, сказках о глупых женах и нерадивых мужьях, вбирает в себя представления о мракобесии, невежестве.

Как нам представляется, Лихачев и Панченко, развивая идеи Бахтина, дополняют их обращением к тем сторонам карнавала, которые, разумеется, не ускользнули от взгляда их предшественни-

ка (о чем свидетельствует тот же анализ «Бобка» Достоевского), но помещались им скорее в поле «высокой», а не народной культуры. И даже когда при анализе произведений Гоголя Бахтин подходит к исследованию «мортальной», макабрической эстетики, он не фокусируется на ней — или намеренно останавливается «на пороге». Мир дионисийский в работе «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» низведен до веселого раблезианства, воплощающего в себе, как стремится доказать автор, полноту бытия. Однако при внимательном изучении этот мир оказывается как раз неполным, особенно если не забывать о последствиях сбрасывания оков (в том числе о вакханалии разнузданной телесности; см. о Бахтине как о «переводчике идей Вяч. Иванова на язык следующего поколения» [Силард 2002; Гюнтер 1992; Тамарченко 2011; Шульц 2023]). Неотъемлемым элементом карнавальной культуры Бахтин считает гротеск, который в силу своей амбивалентной природы выходит за пределы комического и захватывает область страшного, трагического — именно такой «темный», «ночной» гротеск привлек внимание В. Кайзера [Kayser 1981: 224]. В то же время, по справедливому замечанию Ю.В. Пухлий, «романтики и с ними Кайзер недооценивают возрождающее начало гротеска, в этом состоит главное возражение им Бахтина» [Пухлий 2009: 427-459].

Мрачное балагурство, не отменяющее трагизма существования, не ведущее к преодолению кошмара и безысходности, не изживающее боль, смерть и ужас, но существующее даже не вопреки им, а «в них» как их следствие и одновременно причина, как продолжение тех же жизненных начал, которые связаны с областью страшного и чудовищного, — эта грань карнавального мира в полной мере раскрыта Платоновым. Уникальный платоновский стиль и по сей день остается загадкой для исследователей, поскольку не исчерпывается ни указанием на поэтику остранения или неостранения [Меерсон 2016], ни рассмотрением его в русле сновидческого метода [Хрящева 2004: 128–143]. На наш взгляд, специфика платоновского гротеска, обнаруживая типологическое родство с сюрреализмом и магическим реализмом [Вьюгин 2008; Гугнин 1998: 44], зарождающимися в мировой культуре в 1930-е гг., восходит все же к традициям русской культуры — как фольклора, так и литературы (чевенгурцы — те же глуповцы [Кольцова 2016: 205-212]). И думается, что среди писателей, задолго до Платонова обращавшихся к изображению абсурда народной жизни, оказывается и Некрасов.

Во фрагменте «Крестьянка» изображению встречи героев поэмы с крестьянкой-«губернаторшей» предшествует зарисовка барского дома, оставленного хозяевами. Перед читателями проходит парад невеселых развлечений: «Что шаг, то натыкалися / Крестьяне на диковину: / Особая и странная / Работа всюду шла. / Один дворовый мучился / У двери: ручки медные / Отвинчивал; другой / Нес изразцы какие-то. / "Наковырял, Егорушка?" / — Окликнули с пруда. / В саду ребята яблоню / Качали <...> Как прусаки слоняются / По нетопленой горнице, / Когда их вымораживать / Надумает мужик. / В усадьбе той слонялися / Голодные дворовые, / Покинутые барином / На произвол судьбы». Рисуя поистине кромешные картины заброшенной усадьбы, Некрасов откликается на те же исторические процессы, что и Салтыков-Щедрин, осмысляющий в «Диком помещике» последствия крестьянской реформы. Но если Щедрин показывает одичание помещичьего сословия, лишенного привычных условий жизни, то Некрасов убеждает читателя, что и противоположная сторона не знает, как справиться с «испытанием» свободой: избавление от подневольного труда для обитателей усадьбы оборачивается не просто праздностью, но проклятием. Разумеется, необходимо отметить, что Некрасов изображает не народный мир в целом, но людей холопского звания — дворню, о которой писал Герцен: «Видно, конюшня родительского дома учила красноречивее, видно, натура холопа-рабовладетеля не так легко затыкается за пояс французской грамматикой»¹; «крепостное состояние русского крестьянина — это рабство всей Российской империи»². И образ, созданный Некрасовым, оказывается очень ярким и более того — символическим. Абсурд кромешного мира вселяет в странников не смех, но ужас. И едва ли не самым чудовищным оказывается образ младенца Митеньки, сидящего в корыте и ожидающего «ухи горяченькой» («...Измаялся / На черством хлебе Митенька, / Эх, горе — не житье! — / И тут она погладила / Полунагого мальчика / (Сидел в тазу заржавленном / Курносый мальчуган). / "А что? ему, чай холодно, — //Сказал сурово Провушка, / — В железном-то тазу?" / И в руки взять ребеночка / Хотел. Дитя заплакало. // А мать кричит: — Не тронь его! / Не видишь? Он катается! / Ну, ну! Пошел! Колясочка / Ведь это у него!..»). Читатель оказывается вовлечен в атмосферу не игры, но подлинного безумия — тем более страшного, что им охвачены все

 $^{^{1}}$ *Герцен А.И.* VII лет // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 18. М., 1959. С. 238–244.

^{244.} 2 *Герцен А.И.* Русское крепостничество // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 12. М., 1957. С. 34–61.

обитатели этого выморочного мира — и мать Митеньки («бледная беременная женщина»), и ловцы рыбы («В усадьбе той слонялися / Голодные дворовые, / Покинутые барином / На произвол судьбы. / Все старые, все хворые / И как в цыганском таборе / Одеты. По пруду / Тащили бредень пятеро. / "Бог на помочь! Как ловится?.." / — Всего один карась! / А было их до пропасти, / Да крепко навалились мы, / Теперь — свищи в кулак!»), и лакей, одетый в ковер («Холуй хитер: стащит ковер, / В ковре дыру проделает, / В дыру просунет голову / Да и гуляет так!..»), и оперный певец из Конотопа («Вкруг башни по балкончику / Похаживал в подряснике / Какой-то человек / И пел... В вечернем воздухе. / Как колокол серебряный, / Гудел громовый бас...»). Обитатели оставленной хозяевами усадьбы воспринимаются как брошенные на произвол судьбы дети или подростки, уставшие от свободы и безнаказанности. Ощущение неприкаянности несчастных безумцев, которые маются от безделья и вседозволенности и не знают, на что потратить свои время и усилия, пронизывает этот фрагмент некрасовского текста. Некрасовские герои, пребывающие в мороке дурной бесконечности, подобно платоновским «прочим», ждут, когда их «окоротят».

Блуждая по окрестностям Чевенгура (как центра «деформированного» мира), герои Платонова оказываются и в деревнях, и в разоренных усадьбах. Разоренная усадьба как один из топосов новой жизни вызывает особый интерес автора: мотив бесприютности, прервавшейся связи времен присутствует и в «Котловане», где заявлен уже в начале, задавая тон всему повествованию: «Вощев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду и пользе». Образ брошенной усадьбы, отданной под детский сад, является одной из наиболее узнаваемых реалий советской эпохи (выступая в роли специфического воплощения рая детства) и сохраняет актуальность до последних дней советского государства.

Однако само словосочетание «бессемейные дети» уводит читателя в область абсурда, поскольку построено по принципу катахрезы: слово «бессемейный», обозначая в платоновском тексте такое распространенное явление 1920-х гг., как сиротство, и выступая синонимом понятий «брошенный», «беспризорный», «оставшийся без родителей», ассоциируется не с ребенком, а с взрослым человеком, не сумевшим обзавестись семейством, — с «холостяком», «бобылем» и пр. Подобная катахреза, основанная на разрыве и преобразовании устойчивых языковых конструкций и сращений, порождает новые смыслы и одновременно отображает поистине

тектонические сдвиги не только в устройстве общества, но и в самой природе человека. Языковые аномалии Платонова [Левин 1998: 392–419] — одно из проявлений мира перевертышей: «Изнаночный мир не теряет связи с настоящим миром. Наизнанку выворачиваются настоящие вещи, понятия, идеи, молитвы, церемонии, жанровые формы и т. д.» [Лихачев, Панченко 1976: 21].

Разные лики и своеобразные сгустки кромешного мира в романе «Чевенгур» — это и деревня Ханские дворики, и ревзаповедник товарища Пашинцева. В романе, как и в повести «Котлован», с образом разоренного дома и мира связана тема «отмененного» детства: «...две девочки походили уже на баб: они носили длинные материны юбки, кофты, имели шпильки в волосах и сплетничали». Остановившееся, застывшее и «перевернутое» время — признак тотального неблагополучия [Гоганова 2016].

Странные герои Платонова, мечтая о будущем, тем не менее обитают на руинах прошлого — и этим удивительно напоминают некрасовских персонажей, поведение которых ассоциируется не со здоровым дурачеством веселых людей (бахтинским карнавалом), но с экзистенциальным пространством ужаса, страха перед хаосом бессмысленного мира.

Обитатели Чевенгура — это «прочие»: калеки, поистине брейгелевские гротескные уродцы (вспомним слепых, идущих за незрячим же поводырем). Платоновские «неистовые ревнители» коммунизма — своего рода потомки знаменитой Безумной Греты, ожесточенно и бесстрашно штурмующей ад (притом что герои «Чевенгура» столь же неистово ищут и создают коммунистический «рай»).

Здоровой психикой наделен лишь Саша Дванов — однако его образу сопутствует тема физической непрочности, хилости, вызывающих ощущение некоей его «надмирности» (хрупкость Саши отмечают все — от Захара Павловича до Копенкина). И потому он кажется посланником иного мира. Двойственное положение героя позволяет видеть в нем черты не только революционера (или народного заступника, своего рода потомка Гриши Добросклонова), но и Спасителя, сошедшего в этот мир, с тем чтобы подарить ему надежду (о параллелях с Христом, которые эксплицированы в тексте, часто в травестированном варианте, писали неоднократно, см. [Худзинска-Паркосадзе 2007]). Саша оказывается рядом с увечными и слабыми, более того — несовершенными не только телесно, но и духовно. И если к Саше применимо понятие юродства, то «чудачества» «прочих» укладываются в понятие не столько юродства, сколько

мракобесия. Лимб, морок «Бобка» Достоевского — вот пространство «Чевенгура».

Кроме того, на наш взгляд, необходимо различать категории юродства и шутовства, как это делает Л. Силард в связи с героями Достоевского [Силард 1982]. Странное, нелепое в поведении может быть как проявлением иррационального в природе человека, так и следствием лицедейства, притворства, игры — и таким образом тяготеть к одному из полюсов — добра или зла. Безусловно, в мире «Чевенгура» преобладают герои первого типа, тогда как зло чаще себя проявляет в сфере рационального, рассудочного, находящего концентрированное воплощение в образе Прошки.

Если у Некрасова абсурд концентрируется в нескольких запоминающихся эпизодах (помимо анализируемого выше, он ярко представлен в «Последыше», в котором показана агония добровольного рабства; уродливый всплеск прошлого — к сожалению, далеко не последний, так как «люди холопского звания» вряд ли могут быть переведены в другой психоэмоциональный «чин»), то у Платонова абсурдное и кромешное растворены в тексте, так как они включены в «вещество существования» — это та антиматерия, которая у Платонова не отделена от собственно материи — по крайней мере в том мире, в котором существуют его герои, в мире революции, взрыва.

На вопрос, является ли абсурд следствием социальных сдвигов и катастроф (таких как отмена крепостного права или революция) или он, будучи одной из констант русской жизни, выходит на поверхность в кризисные периоды истории, платоновский роман отвечает своей композицией: первые главы, посвященные изображению предреволюционной поры, уже уводят читателя в царство абсурда, позволяя утверждать, что уродливое, аномальное не связано с революцией. Более того, революция как раз дарит надежду на преодоление морока существования — насколько выясняется из финала романа, надежду ложную, и именно этот мотив несбывшейся мечты, обернувшейся кошмаром, и окрашивает все повествование в трагические тона. Как полагает Е.Б. Скороспелова, роман может быть прочитан как история обмана и самообмана народа, как рассмотрение итогов самообольщения идеей [Скороспелова 2003: 269]. С таким пониманием необходимо согласиться, но вопрос о возможности преодоления горя, тоски и ужаса от столкновения с антимиром с помощью социальных преобразований не снимается.

Если Некрасов, вводя в поэму образ Гриши Добросклонова, дарит читателю надежду на преображение мира, то Платонов, подхватывая тему, создавая свой образ «народного заступника», представи-

теля новой интеллигенции, разрушает все иллюзии — и в этом проявляется жестокая правда новой эпохи, давшей неутешительные ответы на некрасовские вопросы (вновь согласимся со Злотниковой).

ХХ век если не прочитал Некрасова «по-новому», то все же обнаружил в нем ту «дисгармоничную гармонию», которая отвечала атмосфере нового времени: «тяжелый, неуклюжий стих» поэта был услышан как «музыка и скрежет гвоздя по стеклу» (Мережковский) и сыграл ключевую роль в самоопределении символистов — как старшего, так и младшего поколения. Постсимволистский период русской литературы, безусловно, также немыслим без некрасовской «прививки»: к осмыслению некрасовского наследия обращаются Тынянов, Эйхенбаум, Чуковский. Некрасовские традиции явственно проступают в творчестве Белого, Есенина, Маяковского. Поэтами и писателями 1920-х гг. классики русской литературы воспринимаются как собеседники, едва ли не как современники (вспомним название платоновской статьи «Пушкин наш товарищ», фамильярное обращение Маяковского к «Некрасову Коле, сыну покойного Алеши»).

Но даже если параллели между образами разоренного дома и искаженного мира в произведениях Платонова и Некрасова не выходят за пределы типологических и предопределены лишь «памятью жанра» — не только сказок или анекдотов о пошехонцах, но и в целом «кромешной» линии русского фольклора, игнорировать их невозможно, прежде всего потому, что они помогают показать противоречия русского национального характера, поднять проблемы русской жизни на надвременную, философскую высоту.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Вьюгин В.Ю.* «Сюр-реалии» Платонова: от Бретона до Бродского (К проблеме эстетической идентификации писателя) // Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы. Кн. 4. ИРЛИ РАН. СПб., 2008. С. 3–21.
- 2. *Гоганова А.В.* «Пожилые» дети в романе А. Платонова «Чевенгур» (к типологии персонажей) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. 2016. № 1. С. 197–204.
- 3. Γ угнин A.A. Магический реализм в контексте литературы и искусства XX века (феномен и некоторые пути его осмысления). М., 1998.
- 4. Гюнтер Х. М. Бахтин и «Рождение трагедии» Ф. Ницше // Диалог. Карнавал. Хронотоп. № 1. 1992. С. 27–34.
- 5. Злотникова Т.С. Русские вопросы А. Платонова и Н. Некрасова: отношение к жизни как ментальный парадокс // Верхневолжский филол. вестн. 2019. N 4 (19). С. 188–197.
- 6. Кольцова Н.З. О платоновских «дураках» (роман «Чевенгур») // Проблемы неклассической прозы. Вып. 2. М., 2016. С. 205–212.

- 7. *Левин Ю.И.* От синтаксиса к смыслу и далее («Котлован» А. Платонова) // Левин Ю.И. Избранные труды: Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 392–419.
- 8. Лихачев Д.С., Панченко А.М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976.
- 9. *Меерсон О.А.* Апокалипсис в быту. Поэтика неостранения у Андрея Платонова. М., 2016.
- 10. *Пухлий Ю.В.* От «росписей из грота» до «гротескного реализма». Франкоязычная рецепция понятия «гротеск» и теории Михаила Бахтина // Вопросы литературы. 2009. № 6. С. 427–459.
- Силард Л. От «Бесов» к «Петербургу»: между полюсами юродства и шутовства (набросок темы) // Studies in 20th Century Russian Prose, Stockholm 1982. С. 80– 107.
- 12. Силард Л. Герметизм и герменевтика. СПб., 2002.
- 13. Скороспелова Е.Б. Русская проза XX века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор Живаго»). М., 2003.
- 14. Тамарченко Н.Д. «Эстетика словесного творчества» Бахтина и русская философско-филологическая традиция. М., 2011.
- 15. *Хрящева Н.П.* Сны в художественной структуре «Чевенгура» // Русская литература XX–XXI веков: направления и течения. Вып. 7 (К 105-летию А. Платонова. Реальное и мифологическое в художественном мире А. Платонова). Екатеринбург, 2004. С. 128–143.
- 16. *Худзинска-Паркосадзе А.* Жанровые особенности романа Андрея Платонова «Чевенгур» // Вестн. Волгоградского гос. ун-та. Сер. 8: Литературоведение. Журналистика. 2007. С. 67–75.
- 17. *Шульц С.А.* М.М. Бахтин и символизм / постсимволизм / неосимволизм (Вячеслав Иванов, О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова и др. // Литературоведческий журнал. 2023. № 3 (61). С. 180–199.
- 18. Kayser W. The grotesque in art and literature. Transl. New York, 1981.

REFERENCES

- 1. V'yugin V. «Syur-realii» Platonova: ot Bretona do Brodskogo (K probleme ehsteticheskoi identifikatsii pisatelya) [Platonov's Sur-Realities: From Breton to Brodsky (On the Problem of the Writer's Aesthetic Identification)]. Tvorchestvo Andreya Platonova: Issledovaniya i materialy [Andrey Platonov's Creative Work: Research and Materials] St. Petersburg: Nauka Publ., 2008, pp. 3–21. (In Russ.)
- 2. Goganova A. «Pozhilye» deti v romane A. Platonova «Chevengur» (k tipologii personazhei) [«Elderly» Children in A. Platonov's Novel Chevengur (On the Typology of Characters)]. Lomonosov Philology Journal. Series 9, 2016, no. 1, pp. 197–204. (In Russ.)
- Gugnin A. Magicheskii realizm v kontekste literatury i iskusstva XX veka (fenomen i nekotorye puti ego osmysleniya) [Magical Realism in the Context of Literature and 20th Century Art (Phenomenon and Some Ways of Understanding It)]. Moscow: Institut slavyanovedeniya RAN Publ., 1998. 120 p. (In Russ.)
- 4. Gyunter Kh. *M. Bakhtin i «Rozhdenie tragedii» F. Nietzsche* [M. Bakhtin and F. Nietzsche's *The Birth of Tragedy*]. *Dialog. Karnaval. Khronotop* [Dialogue. Carnival. Chronotope], 1992, no. 1, pp. 27–34. (In Russ.)
- 5. Zlotnikova T. Russkie voprosy A. Platonova i N. Nekrasova: otnoshenie k zhizni kak mental'nyi paradoks [A. Platonov and N. Nekrasov's Russian Questions: Attitude to

- Life as a Mental Paradox]. *Verkhnevolzhskii filologicheskii vestnik* [Verhnevolzhski Philological Bulletin], 2019, no. 4 (19), pp. 188–197. (In Russ.)
- 6. Kol'tsova N. *O platonovskikh «durakakh» (roman «Chevengur»)* [About Platonov's «Fools» (The Novel *Chevengur*)]. *Problemy neklassicheskoi prozy* [Problems of Nonclassical Prose]. Issue 2. Moscow: *MAKS Press Publ.*, 2016, pp. 205–212. (In Russ.)
- 7. Levin Yu. Ot sintaksisa k smyslu i dalee («Kotlovan» A. Platonova) [From Syntax to Meaning and Beyond (The Foundation Pit by A. Platonov)]. Levin Yu. Izbrannye trudy: Poetika. Semiotika [Selected Works: Poetics. Semiotics]. Moscow: Yazyki russkoi kul'tury Publ., 1998, pp. 392–419. (In Russ.)
- 8. Likhachev D., Panchenko A. «Smekhovoi mir» Drevnei Rusi [The World of Laughter in Ancient Rus']. Leningrad: Nauka Publ., 1976. 204 p. (In Russ.)
- 9. Meerson O. *Apokalipsis v bytu. Poehtika neostraneniya u Andreya Platonova* [Apocalypse in Everyday Life. The Poetics of Re-familiarization of Andrei Platonov]. Moscow: *Granat Publ.*, 2016. 256 p. (In Russ.)
- 10. Pukhlii Yu. Ot «rospisei iz grota» do «grotesknogo realizma». Frankoyazychnaya retseptsiya ponyatiya «grotesk» i teorii Mikhaila Bakhtina [From «Grotto Frescoes» to «Grotesque Realism»: Francophone Reception of «Grotesque» and Mikhail Bakhtin' Theory]. Voprosy literatury [Literary Issues], 2009, no. 6, pp. 427–459. (In Russ.)
- Szilárd L. Ot «Besov» k «Peterburgu»: mezhdu polyusami yurodstva i shutovstva (nabrosok temy) [From «Demons» to «Petersburg»: Between the Poles of Foolishness and Buffoonery (Sketch on the Topic)]. Studies in 20th Century Russian Prose, Stockholm, 1982, pp. 80–107. (In Russ.)
- 12. Szilárd L. *Germetizm i germenevtika* [Hermeticism and Hermeneutics]. St. Petersburg: *Izdatel'stvo Ivana Limbakha*, 2002. 328 p. (In Russ.)
- 13. Skorospelova E. Russkaya proza XX veka: ot A. Belogo («Peterburg») do B. Pasternaka («Doktor Zhivago») [Russian Prose of the 20th Century: From Andrey Bely (Petersburg) to B. Pasternak (Doctor Zhivago)]. Moscow: TEIS Publ., 2003. 420 p. (In Russ.)
- 14. Tamarchenko N. «Ehstetika slovesnogo tvorchestva» Bakhtina i russkaya filosofskofilologicheskaya traditsiya [Bakhtin's Aesthetics of Verbal Creation and Russian Philosophical and Philological Tradition]. Moscow: Izdatel'stvo Kulaginoi, 2011. 400 p. (In Russ.)
- 15. Khryashcheva N. Sny v khudozhestvennoi strukture «Chevengura» [Dreams in the Artistic Structure of Chevengur]. Ural'skii filologicheskii vestnik. Issue: Russkaya literatura XX-XXI vekov: napravleniya i techeniya. Issue 7 (K 105-letiyu A. Platonova. Real'noe i mifologicheskoe v khudozhestvennom mire A. Platonova) [XX-XXI cent. Russian Literature: Trends and Tendencies. Issue 7 (To the 105th Anniversary of A. Platonov. The Real and Mythological in the Artistic World of A. Platonov)], 2004, pp. 128–143. (In Russ.)
- 16. Khudzinska-Parkosadze A. Zhanrovye osobennosti romana Andreya Platonova Chevengur [Genre Features of Andrey Platonov's Novel Chevengur]. Vestnik Volgogradskogo gos. un-ta. Seriya 8: Literaturovedenie. Zhurnalistika [Volgograd State University Bulletin. Series 8: Literary Criticism. Journalism], 2007, pp. 67–75. (In Russ.)
- Schultz S. M.M. Bakhtin i simvolizm / postsimvolizm / neosimvolizm (Vyacheslav Ivanov, O.Eh. Mandel'shtam, A.A. Akhmatova i dr. [M. Bakhtin and Symbolism / Post-symbolism / Neo-symbolism (Vyacheslav Ivanov, O. Mandelshtam,

A. Akhmatova and others)]. *Literaturovedcheskii zhurnal* [The Journal of Literary History and Theory], 2023, no. 3 (61), pp. 180–199. (In Russ.)

18. Kayser W. The Grotesque in Art and Literature. N. Y., Columbia Univ. Press, 1981. 224 p.

Поступила в редакцию 15.05.2024 Принята к публикации 01.06.2024 Отредактирована 09.08.2024

> Received 15.05.2024 Accepted 01.06.2024 Revised 09.08.2024

ОБ АВТОРЕ

Кольцова Наталья Зиновьевна — кандидат филологических наук, доцент кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; koltsovaru@rambler.ru

ABOUT THE AUTHOR

Natalia Z. Koltsova — PhD in Philology, Associate Professor, Department of History of Modern Russian Literature and Contemporary Literary Process, Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University; koltsovaru@rambler.ru